



Валентин Катаев

МОЕ РОДНОЕ ПЕРЕДЕЛКИНО

...Едва я открою глаза, подойду к окну, отодвину штору и посмотрю в окно, как сразу делаюсь как бы неотъемлемой частью ландшафта, представшего перед моими глазами.

Фото В. Киселева.



Пейзаж в духе Коро.

ПРЕКРАСНОЕ слово «ландшафт». Оно стоит где-то в одном ряду со словами «пейзаж», «вид», может быть, даже «панорама». Но оно гораздо шире, объемнее, так как оно как бы включает в себя, кроме мертвой природы, животный мир во главе с самим человеком, являющимся частью ландшафта, — вместе со своими домами, дорогами, мостами, садами и цветниками.

Трудно себе представить старинный ландшафт без мельницы и пруда, где плавают лебеди — белые и черные, а по дороге тянется телега, запряженная волами.

Я крепко сплю. Но едва я открою глаза, подойду к окну, отодвину штору и посмотрю в окно, как сразу делаюсь как бы неотъемлемой частью ландшафта, представшего перед моими глазами.

Я глубокий старик. За всю свою долгую жизнь я становился частью самых разнообразных ландшафтов. Особенно запал в мою душу ландшафт моего детства.

Берег Черного моря. По синим волнам бежит двухтрубный колесный пароход «Тургенев». Я стою на песчаной отмели. В длинных волнах прибоя — раздробленное отражение маяка. Волны несут к моим босым ногам ракушки, морских коньков, винные пробки и обесцвеченные кружочки лимона. А за спиной, в Новороссийской степи, где некогда кочевали скифы, в сухие степные травы садится красное пыльное солнце.

И с визгом летают чайки, вылавливая из воды маленьких крабов и не имеющую имени рыбешку. А рядом развешаны рыбачьи сети.

Потом в моей жизни был еще ландшафт — военный.

Первая мировая война. Ее ландшафт тоже запомнился. Я его вижу. Я даже еще до сих пор в нем живу.

Литовское или Белорусское Полесье. Широкое шоссе, обсаженное столетними березами с почерневшими от времени стволами и сетью серых ветвей. Некогда по этому шоссе в легоньких сапожках, в собольей шапке, окруженный конвоем своих лейб-гусаров, бежал из пылающей Москвы Наполеон, еще так недавно считавший себя владыкой полумира.

Теперь по этому шоссе тянулись военные обозы, санитарные повозки, походная кухня с трубой, из которой тянется дымок. На горизонте — остатки разбитого снарядами костела, производившего впечатление рыбьей косточки. На рысях проезжали конные батареи, вокруг синели густые хвойные леса, а в небе плыл двурогий месяц — равнодушный ко всей этой земной красоте, так омерзительно загаженной сражающимися армиями.

И живу я до сих пор еще в одном военном ландшафте — второй мировой войны, Великой Отечественной.

Вижу ржаное поле в Орловской области, которое не успели сжечь, и оно теперь все в черных пятнах военных ожогов.

Посередине обугленных колосьев и голубых цветов цикория торчал подбитый танк, из люка которого высовывалась нога убитого танкиста в грубом полуобгоревшем башмаке.

Кое-где кудрявились поросли дубняка, которым не было никакого дела до войны, совершавшейся вокруг.

Ржаное поле и поросли дубняка в зареве заходящего солнца были так прекрасны, что на какой-то миг я перестал смотреть в безоблачное предвечернее небо, по которому с зловещим рокотом плыли десятки тяжелых бомбардировщиков, создавая впечатление, что движется все небо. Как противоестественна война!

О, как ужасны были ее ландшафты! Я никогда их не забуду, даже тогда, когда через десятилетия мирных лет, седой и старый, очнувшись после мучительных сновидений полубессонной ночи, в дрихлом халате, в поношенных теплых туфлях, еще не успев принять душ и побориться, подхожу к окну и отодвигаю занавеску.

Она отодвигается как театральный занавес, и передо мной открывается как хорошо знакомая декорация часть ландшафта, в котором мне по видимому суждено прожить остаток жизни.

Квадратная часть ландшафта в раме окна представляет из себя нечто до такой степени сроднившееся со мной, что я даже не замечаю его подробности.

Кстати, о подробностях.

Если бы я был живописцем, то вопрос подробностей не представлял бы для меня особого труда, так как в мою задачу входило бы всего лишь изобразить эти подробности во всей их неподвижности — и конец делу!

Художник-живописец превращает движущееся в неподвижное.

Живопись — сестра схоластики. Но я не живописец, не схоласт. Я нечто вроде поэта, то есть хотя и не вполне развитое, но все же родное дитя диалектики. Я воспринимаю окружающий меня мир в постоянном движении. Ландшафт для меня нечто вечно изменяющееся. Предметы, которые я вижу, несут на себе отпечаток Времени, а, как известно, Время есть субстанция движения. Или наоборот — движение есть субстанция Времени.

Но пусть этим занимаются философы.

Та часть ландшафта, в котором мне суждено оканчивать жизнь и который я наблюдаю утробом, заключенная в раме окна, не является неподвижным изображением, написанным на хорошо загрунтованном холсте или доске каким-нибудь гениальным художником голландской школы, а скорее движущаяся цветная панорама,

созданная вследствие соприкосновения окружающей среды с моим глазом.

Впрочем, это только мой догадка.

Я подозреваю, что Гете в своем учении о цвете не был прав, думая, что явление цвета заключено в глазу человека. Цвет — явление объективное.

Итак, я смотрю в окно и вижу длинные, высокие стволы старых сосен, лапы елей, дачный штатетник и за ними дорогу, по которой в данный момент движутся цветные фигуры лыжников. На кирпичных столбах противоположного забора — белые шапки снега. Значит, это зимний ландшафт. Но время течет, и вот зимний пейзаж превращается в весенний, а потом и в летний, когда на дороге вместо разноцветных лыжников я вижу прогуливающихся дачников, бегающих детей и собак.

Но это всего лишь частности. А целое?

Целое может создать лишь моя фантазия, подкрепленная памятью и некоторым знанием истории, потому что та часть русской земли, где я сейчас живу, есть место не только живописное, но также и историческое.

Исторический ландшафт.

Если на миг отказаться от изображения движущейся панорамы и превратиться в художника-пейзажиста, выбравшего для своего пейзажа наиболее удобное место и время года, то я бы выбрал ту воображаемую точку, откуда наиболее отчетливо видны все типичные элементы «моего ландшафта»: средней России в восемнадцати километрах к юго-западу от Москвы рядом с железнодорожным полотном, по которому проходят электрички и товарные поезда в сторону Киева и Одессы, а также к границам Румынии и Венгрии, что незримо связывает меня с Европой.

Железнодорожное полотно в одном месте прерывает небольшой холм, так что издали, когда прохлдит поезд, видны только крыши вагонов. Прогулываясь, я часто здесь останавливаюсь и смотрю на далекую полосу хвойного леса, из которого выглядывают маленькие золотые купола древней церкви, являющейся центром ландшафта. Иногда мне кажется, что именно здесь началось то, что у нас принято называть Русью. Хотя это и неверно, потому что Русь пошла от Киева. Но «моя Русь», несомненно, началась здесь, в подмосковном лесу, в том месте, где некогда разыгрывались трагические события борьбы маленьких уездных князьков против центральной государственной власти великого князя, «царя всея Руси».

Сейчас это место называется Переделкино.

Несколько столетий назад здесь была вотчина князей Колычевых, и, вероятно, название Переделкино обозначало, что именно здесь проходил «передел» — граница между владениями Ко-

лычевых и землями русских князей, обладающих центральной властью. Но где кончались владения Колычевых и начинались владения московских великих князей, я не знаю.

Сейчас это единый русский ландшафт во всей своей неповторимой красоте и своеобразии.

О кровавой расправе между царской властью и оппозицией Колычевых напоминает только церковь, сохранившаяся со времен Иоанна Грозного, и возле нее древние могилы и небольшой обелиск с именами шестнадцати Колычевых, казненных Иваном Грозным, и среди них несколько бояр высокого звания, воевод, князей церкви и даже одного патриарха.

Теперь о том времени с казнями и пытками, с опричниной, безжалостно истреблявшей боярскую оппозицию, напоминает лишь колокольный звон, ежедневно около пяти или шести часов вечера зовущий к вечерне.

Странно и горько слушать этот древний звон, заглушаемый рокотом самолетов Аэрофлота, возвращающихся на аэродром, как пчелы в свой улей, стараясь приземлиться еще засветло.

Теперь эта древняя церковь считается летней патриаршей резиденцией, но так ли это на самом деле — не знаю.

Во всяком случае, в пасхальную ночь вокруг церкви мерцают россыпи огоньков, и по направлению к церкви со всех сторон по дорожкам и тропинкам тянутся фигурки старух, несущих в белых узелках святить свои скромные куличи, украшенные бумажной розой, и несколько крашеных яиц — лиловых, желтых, зеленых и золотисто-луксовых.

Может быть, изобразить это шествие старух было бы по плечу Брейгелю; я за это не берусь.

Громадный современный корпус, освещенный вечерней зарей. Это дом-интернат для престарелых, доживающих свой век в удобных комнатах, под врачебным присмотром. Здесь же в дни избирательных кампаний в Верховный Совет устраивается избирательный участок с кабинками для тайного голосования. В этот день фасад дома престарелых украшается красными флагами и кумачовыми лентами с лозунгами.

Обитатели дома, празднично одетые старики и старухи в больничных туфлях, проголосовав сами, присутствуют при церемонии голосования, что приобщает их к политической жизни страны, и они не чувствуют себя лишними людьми.

Возле церкви сельское кладбище, знаменитое тем, что здесь похоронен Борис Пастернак. Кладбище расположено на склоне холма, спускающегося к небольшой речке под названием Сетунь. Собственно, это даже не речка, а скорее неглубокий ручей, поросший черемухой.

По некогда Сетунь была большой полноводной рекой, по которой в старину плыли под парусами торговые суда, перевозившие лен, пеньку, пшеницу, деготь, мед и другие товары того времени.

Возле кладбища через Сетунь проложен мост, по которому теперь мчатся автобусы и автомобили.

По другую сторону простирается на косогоре колхозное поле, чаще всего засеваемое кукурузой, и осенью шоссе, прилегающее к полю, бывает покрыто кукурузной ботвой и остатками молочных початков, лакомством местных мальчишек.

На краю поля — несколько столетних берез неслыханной красоты. В одну из этих берез некогда ударила молния, и на фоне других деревьев зловеще торчит черный обломок некогда прекрасного растения.

До революции это все принадлежало помещику Самарину, известному славянофилу и другу современных ему литераторов. Теперь в помещицком доме с традиционными белыми колоннами помещается детский санаторий, а лет сто или полтора тому назад у Самарина гостили знаменитые люди того времени, в том числе Герцен и даже, как утверждают, Гоголь.

Самаринский дом построен на берегу пруда, до сих пор отражающего столетние плакучие ивы и белые среднерусские облака.

А вокруг хвойные и лиственные леса, придающие местности характер несколько дикий, древний, даже доисторический.

Сейчас здесь разросся писательский городок, носивший название Переделкино. Небольшие дачки, расположенные вдоль нескольких лесных просек, виднеются в зарослях лип, берез, сосен, елей, дикого орешника и канадских кленов, багрово-красных каждую осень, соперничая с красками бузины и рябины.

Дача, в которой жил Пастернак, смотрит своими террасами на колхозное поле, на Сетунь и на кладбище, которое поэт видел, когда писал свои последние стихи:

«И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, нагой, трепещущий ольшаник в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник...»

Мой ландшафт был бы не вполне готов, если бы еще не прибавил сюда морозную новгородную ночь и маленькую невероятно яркую луну, заливающую покрытые снегом леса, и холмы, и лиловое поле своим магическим светом.

ПЕРЕДЕЛКИНО.